

XXVIII

Список членов Коммуны появился в двадцати экземплярах, от двадцати округов Парижа.

Я – один из трех, избранных Гренеллем.

Я служил там когда-то мелким чиновником в жалком здании мэрии, и там, в отделении для новорожденных, не раз видали, как я бледнел и смахивал слезу, когда приносили малютку, завернутого в блузу, снятую с плеч несчастного отца, дрожащего от зимней стужи. Некоторые, простудившись, умирали, и я присутствовал на их похоронах.

И вот десять лет спустя об этом вспомнили. Имя мое, названное одним из отцов, приходивших ко мне когда-то под снегом в одном жилете, было подхвачено и принесено, как ребенок в куртке рабочего.

– Надеюсь, ты доволен?

– Да, доволен, что народ вспомнил обо мне. Но это избрание, ты и сам понимаешь, равносильно смертному приговору.

– Ты серьезно думаешь, что придется поплатиться своей шкурой?

– Гильотина или расстрел – одно из двух. И если нас расстреляют, – это можно будет счесть за удачу.

– Брр!.. А все-таки при мысли, что тебе перережут шею, невольно мороз пробегает по коже.

Товарищу, по-видимому, тоже не очень улыбается эта перспектива; но в глубине души у него все же таится надежда, что я разыгрываю комедию и нарочно для него придумал эту грядущую гекатомбу.

Однако надо отправляться на свой пост.

– Скажите, пожалуйста, где заседает Коммуна?

Я задаю этот вопрос во всех уголках ратуши. Прохожу по пустым залам, по залам, битком набитым народом, и никто не может дать мне никаких указаний.

Встречаю коллег; они добились не больше моего, но зато больше выходят из себя. Они выражают недовольство Центральным комитетом: смеется он, что ли, над ними, заставляя их напрасно ждать у запертых дверей?

Наконец мы нашли.

В бывшем помещении департаментской комиссии зажжены лампы, и мы можем там совещаться.

Высматриваем себе местечко, разыскиваем своих друзей, стараемся найти нужный тон и манеру вести себя.

Здесь голос не будет звучать так, как в танцевальных залах, приспособленных для грома турецких барабанов и раскатов здоровенных глоток: здешняя акустика не для бурных речей.

Говорящий не поднимется на трибуну, с высоты которой можно ронять жесты и метать взгляды.

В этом амфитеатре со скамьями каждый будет говорить со своего места, стоя в полумесяце своего пролета. Заранее можно сказать, что крылья у декламации будут подрезаны.

Нужны будут факты, а не фразы; жернова красноречия, перемалывающие зерна, а не мельница, вертящаяся от ветра громких слов.

Когда все уселись, когда Коммуна заняла место, – воцарилось глубокое молчание.

Но вдруг я почувствовал, как что-то дерет мне уши. Какой-то субъект, сидевший позади меня, поднялся и, встряхивая длинными, гладкими, как у немецкого пианиста, волосами, оставляющими сальные следы на воротнике его сюртука, и вращая тусклыми глазами за стеклами очков, стал протестовать срывающимся голосом против того, что сказал кто-то до него.

Этот «кто-то» – быть может, это был я сам – спросил, как уладят свое дельце избранники Парижа, являющиеся одновременно версальскими депутатами.

Ведь нужно же было знать, чего держаться.

Человек с волосами, свисающими точно ветви плакучей ивы, заявил, что после требований, предъявленных в таком тоне, он немедленно удаляется. И, перекинув пальто через руку, он вышел, хлопнув дверью.

Это не хитрая штука!

Но разве пришло мне в голову удрать, отряхнув прах от ног своих, когда мне стало ясно как день, что нас поглотит якобинское большинство?

Чем больше опасность, тем священнее долг оставаться на посту.

Почему же этот Тирар[186] не желает послужить тем, кто выбрал его представлять и защищать их интересы?

– Я присоединяюсь к правительству! Может быть, вы вздумаете меня арестовать? – крикнул он, бросая яростные взгляды из-под своих очков.

Успокойся, тебя не арестуют! И ты отлично знаешь это, подлый трус, – ты, у кого даже не хватает смелости присмотреться к возбужденному Парижу. Другие, может быть, тоже подадут в отставку, но они останутся жить на мостовой, откуда взвилось пламя революции, – пусть даже с риском, что оно поглотит их... Скатертью дорога!

Что же еще произошло в этот день? – Ничего. Организационное заседание!

При выходе кто-то подошел ко мне.

– А вы сейчас здорово огорчили Делеклюза. Он вообразил, что вы имели в виду именно его и даже чуть ли не указали на него, когда говорили о тех, кто колеблется между Парижем и Версалем.

– И он взбешен?

– Нет, он опечален.

Это верно. Складка презрения не бороздит уже его лицо; в глазах светится тревога, в опущенных углах губ притаилась тихая грусть.

Он чувствует себя выбитым из колеи среди этих блузников и бунтарей. Его республика имела свои строго начертанные пути, свои военные рубежи и межевые столбы, свою боевую тактику, свои пределы страданий и жертв.

Теперь все изменилось.

Растерянный, бродит он без авторитета и престижа среди этих людей, не имеющих еще ни программы, ни плана и не желающих никаких вождей.

И он, ветеран классической революции, легендарный герой каторги, он, претерпевший столько мук и в своем желании почета считавший, что имеет право на пьедестал дюйма в два высоты, – повержен на землю, и на него обращают внимания не больше, чем на Клемана[187], а слушают, может быть, даже меньше, чем этого красильщика с улицы Вожирар, явившегося в башмаках на деревянной подошве.

Я проникаюсь почтительной жалостью к этой печали, которую Делеклюз не может скрыть. Больно смотреть, как он старается прибавить шагу, чтобы поспеть в ногу с федератами. Его убеждения страдают, и он задыхается, обливается кровью в своем желании присоединиться к стремительному движению Коммуны.

Это усилие является как бы исповедью, раскаянием, безмолвным и героическим признанием в тридцатилетней несправедливости по отношению к тем, кого он обвинял в смутьянстве, считал изменниками, – и только потому, что они шли вперед быстрее, чем его комитет ветеранов Горы.

Его закаленное дисциплиной сердце не выдержало, и из глаз его брызнули искренние слезы; он поспешно подавил их, но они все же смягчили металлический блеск его взгляда и приглушили голос, когда он благодарил меня за мои объяснения. Я принес их ему с тем уважением, каким молодой обязан старику, которого он, не желая того, обидел и... заставил плакать.

Как ужасны эти сектанты, кто бы они ни были: новообращенные или брызгливые старики, дьячки Конвента или правоверные демократы-социалисты.

Верморель: аббат, с наклеенными усами; бывший певчий церковного хора, он разорвал в минуту гнева свое пурпурное одеяние, но остатки его проглядывают в его знамени.

Жесты его хранят следы отслуженных месс, а моложавый вид еще больше увеличивает сходство с мальчиком из хора.

Действительно, в провинции нередко можно видеть во время религиозных процессий таких великовозрастных парней с миловидным, круглым и нежным лицом под алой скуфьей; они разбрасывают лепестки роз или кадят перед балдахином, из-под которого прелат раздает благословения.

Череп Вермореля так и просит маленькой пурпурной шапочки, хотя он и прикрыл его фригийским колпаком.

Он даже чуть ли не сюсюкает, как все эти прислужники кюре, и постоянно улыбается профессиональной улыбкой священника, – бледная улыбка на бледном, как просфора, лице. На внешности этого атеиста и социалиста лежит отпечаток семинарии.

Но он вытравил из своего религиозного воспитания все, что отдавало низостью и лицемерием. Вместе с черными чулками он отбросил и скрытые пороки иезуитов, сохранив при этом их суровую добродетель, упорную энергию, неуклонное стремление к цели, а также бессознательную мечту о мученическом венце.

Он вошел в революцию через двери алтаря, как миссионер в Китае, идущий навстречу пыткам, и внес в нее неукротимый пыл, потребность отлучать неверующих, бичевать нерешительных, готовый сам принять стрелы в грудь и быть распятым грязными гвоздями клеветы!

Читая каждый день свой красный требник, комментируя страницу за страницей свои новые «Жития святых», подготавливая приобщение Друга народа[188] и Неподкупного[189] к лику святых, он печатал их революционные проповеди и втайне завидовал их смерти.

Ах, как хотелось бы ему погибнуть под ножом Шарлотты[190] или от пистолетной пули термидора![191]

Иногда мы с ним воюем по этому поводу.

Я ненавижу Робеспьера, деиста, и считаю, что не следует подражать Марату, каторжнику собственной подозрительности, истеричному защитнику Террора, неврастенику кровавой эпохи.

Я присоединяюсь к проклятиям Вермореля, когда они направлены против сообщников Кавеньяка, причастных к июньской бойне, когда он швыряет их в толстое брюхо Ледрю, в мерзкую рожу Фавра, в шишку Гарнье-Пажеса, в апостольскую бороду Пельтана, но... более кощунственный, чем он, я плюю на жилет Максимилиана и разрываю, точно ухо бракованной лошади, петлицу васильково-голубого фрака[192], где в день праздника Верховного существа красуется трехцветный букет.

И подумать только, что, не говоря этого, а может быть, и не подозревая, Верморель защищает убийцу Эбера и Дантона... Потому что все эти расстриги только меняют культ и в рамку самой ереси вставляют религиозные воспоминания.

Их вера и их ненависть только меняются местами: они пойдут, если это будет нужно, как иезуиты – их учителя – по пути злодейств, чтобы достигнуть желанной цели.

Верморелю следовало родиться в девяносто третьем году. Он мог стать Сикстом Пятым[193] социалистического папства. В глубине души этот кощей, явившийся слишком поздно или, может быть, слишком рано в наш трусливый мир, мечтает о диктатуре.

Иногда его охватывает злоба.

Тем, чьи помыслы были устремлены к небу, земля часто кажется слишком мизерной. Не имея возможности выйти самим или быть выдвинутыми другими на ступеньки какого-нибудь Ватикана предместий, на яркое солнце, – эти дезертиры кафедры кусают

себе руки во мраке. Возносясь в мечтах к вечности, они изнывают от мук в этой тесной и жалкой жизни.

Сплин, разрушительный, как раковая опухоль, пожирает то место, где, как им некогда казалось, должна была находиться душа, и тошнота отвращения проникает в их ноздри, трепетавшие от благоухания ладана. За отсутствием этого аромата им необходим запах пороха, воздух же насыщен лишь оцепенением и трусостью. Они еще борются некоторое время, пока в один прекрасный вечер не проглотят яда и не умрут, как животные, не имеющие души!

Он тоже проделал это когда-то.

Он боролся с собой шесть месяцев. Старался изжить свое беспокойство, рассеять свою тоску, бросаясь от одного занятия к другому. Перебывал последовательно издателем, продавцом книг, романистом, газетным хроникером Латинского квартала, выпустил книгу о Бюлье, основал еженедельную газету, затем написал роман «Desperanza». В своей жажде деятельности он вгрызался во все и сломал себе на этом зубы. Тогда он купил яд, решил умереть, но... жадно уцепился за жизнь, после того как рвотное избавило его от мышьяка и от некоторой доли разочарованности.

Говорят, что в этой попытке самоубийства была замешана любовь.

Любовь – нет. Женщина – возможно.

Этот человек ненасытных желаний, этот неутомимый труженик воевал день и ночь с существом, делившим с ним очаг и постель.

Его голова, созданная для почетных ран – на баррикадах или на эшафоте, – выглядит иногда очень смешно, вся исцарапанная мегерой, которая держит его в своих когтях и даже на улице преследует своей бранью.

Дома у него, наверное, происходят ужасные сцены: сожительница этого светского аббата истязает его булавочными уколами.

Возможно, что, тоскуя о желанной власянице, томясь жаждой испить уксуса, он ничего не имеет против этих уколов, преподносимых на конце половой щетки, за отсутствием копья Голгофы.

Никогда не прислушивался он к журчанию ручейка, никогда не любовался порхающей птичкой; нося свое небо в себе самом, он никогда не вглядывался в горизонт, никогда не провожал глазами бегущее облачко, горящую звезду, заходящее солнце.

Он не любит земли и выходит из себя, видя, как я прирастаю к ней каждый раз, когда мне случается попасть на лужайку, напоминающую уголок Фарейроля. Для него земля – шахматная доска, где можно передвигать пешки, выбивать из седла офицеров, делать мат королям. Цветы он видит только перед ружейным дулом в тире и к шелесту листьев прислушается только тогда, когда они вырастут на древках знамен.

Он презирает меня. Считает меня поэтом и называет лежебокой, потому что свои статьи, даже самые боевые, я писал там, в деревне, на лодке, под ивами маленькой бухты, и потому еще, что по вечерам, облокотясь на окно, я подолгу глядел в поле, где в сумерках вырисовывались очертания плуга, сверкавшего при лунном свете своим лемехом, как отточенный топор.

Насколько проще те, что вышли из народа!

Ранвье. – Длинное худое тело; на нем, точно на пике, насажена иссиня-бледная голова, которую можно было принять за отрубленную, когда он опускал веки.

Казалось, что эта голова уже потеряла всю свою кровь у какой-нибудь стены для расстрелов или в корзине палача: волосы спутаны, как у только что казненного, губы белы, и в углах их застыла последняя гримаса агонии.

Таково лицо Ранвье в спокойном состоянии. Его бледность точно пророчит ему мученичество, заранее накладывая на его чело печать скорбной жизни и трагического конца.

Но стоит ему открыть рот и заговорить, как лицо его озаряется детской улыбкой, и его хриплый от чахотки голос пленяет остатками берийского акцента и какой-то певучестью. Должно быть, в молодости он был запевалой на клиросе у себя в деревне, потому что до сих пор у него сохранилась мелодичность в голосе, несмотря на то что горло его разъедено ядовитым воздухом городов.

Он был владельцем небольшого предприятия, но банкротство поглотило все его деньги. Он никогда не говорит об этом, считая, что запятнал честь партии, но возможно, что бледность, которая, словно мукой, покрывает его лицо, появилась в то утро, когда синдик объявил его несостоятельным.

Тому, кто знает его, известно, как он страдает... но многим известно также и то, что он был и остался честным и порядочным человеком.

Этот живой труп – трезвенник и пьет воду с сиропом, когда хочет чокнуться с любителями выпить; ест мало, чтобы оставить свою долю другим; работает по ночам, чтобы кое-как

прокормить шестерых детей, растущих на его попечении без матери.

Жена его умерла. Эта стойкая доблестная женщина оказала большое влияние на своего мужа; дети ее тоже обязаны ей вечной признательностью за ее любовь и самоотверженность, а также, может быть, и вечной скорбью за те семена социального гнева, которые она заронила в их сердца, проповедуя им даже со своего смертного ложа солидарность с обездоленными и право угнетенных на восстание!..

.....

.....



Версия #1

создал 2 мая 2026 13:44:57
обновил 2 мая 2026 13:46:04